

Ахат Мушинский

# Моди, Анна и другие

41

...В часы такой поры  
на улицах разве что поэты и воры.

В. Маяковский. «Хорошо»

**Н**А ЧАСАХ десять минут третьего. Надо же ни туда ни сюда проснуться! За окном тьма-тьмушшая. Как ни ворочайся, больше не уснуть. И настроение – хуже некуда. Разве бывает такое посреди ночи? Ещё как бывает, когда сутками правишь чужие тексты. И не просто правишь, а тупо меняешь дефисы на тире, расставляешь точки над ё, как это требуют редакционные каноны. Служу в городском журнале, заведу отделом культуры. Поток графомании, нелепых статей нескончаем, мусора в них – хоть совковой лопатой выгребай! Читать что-то стороннее, для души нет возможности. Тупею изо дня в день, никакого просвета. Если и осталось во мне что-то светлое, то это из далёких времён, запасы юности, багаж не тающий, но и не пополняющийся. С ума сойти! Когда-то это должно же было набрать запредельную массу и взорваться. Вот и бухнуло посреди ночи.

Лежать больше мочи нет. Одеваюсь – лёгкая курточка, шарфик в клеточ-

ку – лишь бы голую шею над футболкой прикрыть. Пора уже такая: ни холодно, ни жарко – весна, снега нет, но и зелени тоже. Проветрюсь, может, остыну и вернусь в самого себя, спокойного, терпеливого...

На улице ни души. Высотки вокруг тоже вымерли, ни огонька в окнах. Только фонари на столбах сеют вокруг себя бесстрастный, но тёплый жёлтый свет, да проблески рекламы кое-где подмигивают неизвестно кому. Наверное, мне, одинокому и взбаламученному. Через два квартала упираюсь в празднично сияющую под вывеской «Бар» стекляшку. Бар по-татарски означает *есть*. Что же в этом баре бар? То есть – есть, имеется? Какая-то другая, яркая жизнь?

У барной стойки чернявая красавица с умытыми какими-то нездешними дождями смородинами глаз. Как такую, интересно, муж отпускает куда-то на ночь? Улыбается, спрашивает: чего пожелаете? Заказываю сто граммов водки, сладенького сока, какой-то лёгкой закуски...

Посетителей немного, но есть. Разговаривают, смеются... Весело людям за полночь. Ни забот, ни проблем, ни хмурого утра через несколько часов!

Каким-то образом, уж и не припомню, рядом за столиком оказывается мужчина средних лет, положительной внешности, но без денег. Звать Сергей, из крещёных татар Алькеевского района. Угощаю, жалко, что ли! Когда решили выйти покурить, и я хотел купить сигарет, он предложил махорки, которую для него выращивает и обрабатывает в родной деревне его мама. Он сделал две самокрутки, и алькеевский табачок показался мне ароматнее любых заморских сигарет.

Ему понравилось, что я по достоинству оценил его курево. Он отсыпал махорки в пакетик, добавил туда специальной бумаги для самокрутки и со словами «это тебе, доброй душе, гостинец» удалился – утром ему надо было на стройку, где он работал укладчиком плиток. Это ж какое надо иметь здоровье, чтоб после ночного застолья рано утром отправиться на работу?!

Минут через пять, пока я размышлял о новом знакомом и умилялся его открытостью и доброхотством, подошёл ко мне молодой человек с сигаретой на губе и с просьбой огонька. Я обратил внимание на его странную одежду: бархатная бежевого цвета не то куртка, не то распашонка с большими накладными карманами, откуда торчали карандаши, небрежно повязанный шейный полосатый платок... И особенно удивило это его обращение: «Пардон, месье!» Я повнимательнее взглянул на него и сразу узнал:

– Бонжур, месье Моди!

Как бы это удивительно не было, но передо мной в круглосуточной «забегаловке» стоял, чуть склонившись – готовый зажечь свою сигарету, сам Амедео Модильяни. Я представился и жестом указал на угощение только что покинувшего меня приятеля:

– Не желаете отведать нашего табачку?

Он вскинул бровь, улыбнулся и при-

нял приглашение – сел рядом, весьма ловко свернул самокрутку и с моей зажигалки блаженно закурил.

Хозяйка бара замечания нам не сделала, даже улыбнулась, как бы приглашая возобновить застолье. Я предложил отметить знакомство, назвав ряд традиционных наших напитков. Он отрицательно покачал головой и произнёс желаемую марку:

– Абсент.

У стойки за спиной барменши я заметил календарь с крупным указанием года: 1910. Только теперь обратил внимание на крепкие дубовые полы заведения, красной обшивки стулья, малиновые абажуры, вишнёвые стены с картинами французских импрессионистов, странно одетых посетителей, будто в театральное кафе зашли артисты со спектакля, не переодев своих сценических костюмов начала прошлого века.

Я взял было два фужера с жидкостью ядовито-зелёного цвета, но стоявший за мной Моди поправил меня: надо три. И указал на столик в углу бара, где своего кавалера дожидалась мадемуазель в шляпе с широкими полями. Нет, точнее, уже мадам, если знать историю литературы. Ещё на полпути к столику я узнал её.

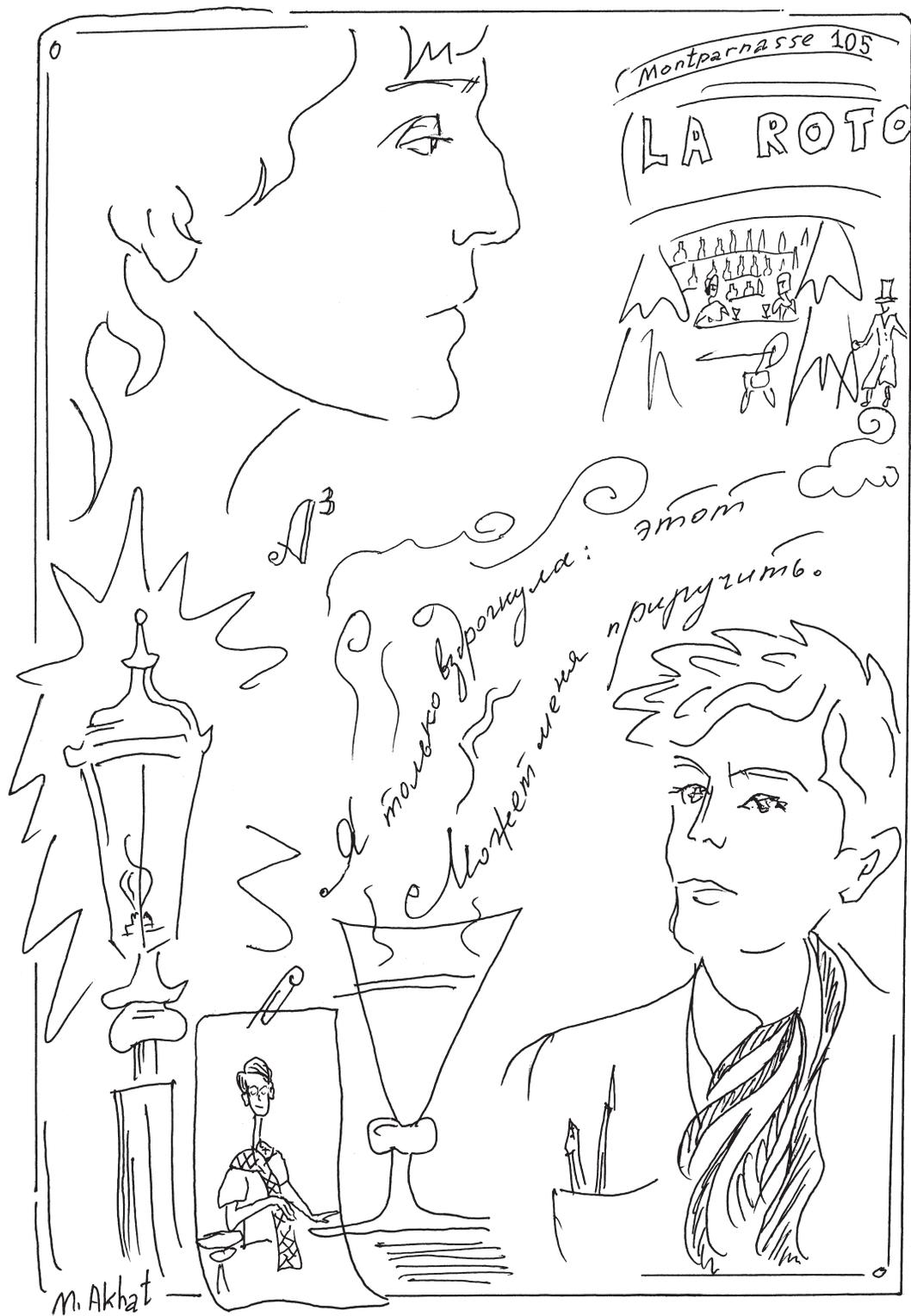
– Добрый вечер, Анна Андреевна! – поздоровался, кланяясь и ставя на стол фужеры.

– Откуда ты всех знаешь? – удивился Моди.

– Как же вас не знать! – только и вздохнул я в ответ.

– Зовите меня просто Анна, – ответила она. – Я ещё молода для отчества. – И добавила: – Здесь же официанты обслуживают, можно было не трудиться с фужерами. – Она обернулась к Моди: – Амадей... – Ахматова так, по-своему, звала художника, а может, по аналогии с любимым Моцартом, – подтяни для гостя стульчик.

Отпили по глоточку. Полынь она и есть полынь. И чего эту гадость горькую превозносят – абсент да абсент?! Не одному другому напитку столько жи-



вописных полотен не посвящено. Коварная Зелёная Фея царствует на полотнах Эдуарда Мане, Ван Гога, Эдгара Дега, Пикассо, Тулуз-Лотрека...

Художнику глоток – как же иначе! – пришёлся по душе, и он продекламировал, поправив платок на шее:

**Абсент, я преклоняюсь пред тобой!  
Когда я пью тебя, мне кажется,  
Вдыхаю душу молодого леса  
Прекрасною зелёною весной.**

Я поймал паузу и попросил Анну прочесть что-нибудь своё.

– Много читал вас, а вот вживую бы услышать.

Она не заставила себя упрашивать, взглянула лишь кратко на своего Амадея:

**Было душно от жгучего света,  
А взгляды его – как лучи.  
Я только вздрогнула: этот  
Может меня приручить.**

**Наклонился – он что-то скажет...  
От лица отхлынула кровь.  
Пусть камнем надгробным ляжет  
На жизни моей любовь.**

Моди слушал, и на лице его блуждала полуласковая, полуленивая улыбка. Когда Анна замолчала, он сказал мне еле слышно:

– Я не понимаю её стихов – я их чувствую.

– А она вашу живопись понимает?

– Что её понимать! Мои работы просты и бесхитростны.

– Ни на кого непохожие они, – возразил я. – Вы создали свой неповторимый мир. – И добавил, помедлив: – Но он у вас какой-то не полный. Ни жанровых сцен тебе, ни пейзажей, ни даже натюрмортов...

– Пейзажи мало-мальски есть, а натюрмортов – и в самом деле...

Тут и Анна вставила своё слово:

– У Амадеюшки весь мир в людских лицах и портретах.

На секунду я задумался: на каком же языке мы общаемся? Но тут же главенствующая мысль перебила только что возникшую:

– Скажи, Моди, почему у тебя все персонажи с пустыми глазами? – Я не заметил, как перешёл на «ты».

– Не все, – покривил он влажные от абсента губы.

Анна же высказалась по обыкновению не сразу:

– Они не пустые, в них до краёв разлиты печаль и одиночество. – Тронула шляпу двумя пальцами пальцев, увенчанных пурпурными перьями ногтей, и как-то змеевидно, всем телом поправились на стуле. В этом её секундном движении было небесное изящество, которое подтверждало правоту бесчисленных эпитетов о ней, высказанных за столетие. Недаром же зарубежные и отечественные художники дрались за возможность написать её портрет анфас и в профиль, в рост и... Обнаженок, впрочем, удостоен был один, да, Модильяни. Она посмотрела на своего дружка. То ли от слов её, то ли от абсента полуласковая и полуленивая улыбка Моди превратилась в счастливую. Анна повела ладонью по его щеке:

– Мне с тобою с пьяным весело...

Эти слова потом превратились в первую строку стихотворения, за которыми последовали картинки с парижскими вязами и заверениями:

**Мы хотели муки жалиющей  
Вместо счастья безмятежного...  
Не покину я товарища  
И беспутного и нежного.**

Заказали чёрный кофе и ещё абсента, читали наизусть Бодлера, Верлена... Моди шпарил отрывки из «Божественной комедии» своего любимого соотечественника Данте. Я слушал, и зал, который первоначально показался мне крохотной забегаловкой, ширился и высился, и над головами многочисленных посетителей поплыли зеленоватые туманы. Тут и я подал голос, взглянув под шляпу Анны и вспомнив Блока:

**И странной близостью закованный,  
Смотрю за тёмную вуаль  
И вижу берег очарованный  
И очарованную даль.**

Анна согласно покачала головой, улыбнувшись и, видать, вспоминая что-то, а может, просто из вежливости. По-молчала, вздохнула и:

Я живу, как кукушка в часах,  
Не завидую птицам в лесах.  
Заведут – и кукую.  
Знаешь, долю такую  
Лишь врагу  
Пожелать я могу.

Затем пригубила чашку кофе и сказала, что ей надо отлучиться в дамскую комнату.

Стихи про заводную кукушку заставили вспомнить о... Я ополовинил свой фужер и спросил:

– А где Николай?

Было же известно, что Анна находится в Париже в свадебном путешествии с непризнанным тогда ещё поэтом и будущим офицером и путешественником Николаем Гумилёвым.

– Он в Академии наук, ведёт переговоры об экспедиции в Африку.

– Какая Академия? Ночь на дворе!

– Точно... – вынужден был согласиться Моды. И, заглянув в пустой фужер, произнёс: – И зачем она вышла за него замуж? Ведь не любит... – Он позвал официанта. – Понятно, пожалела. Застрелиться же хотел.

– Застрелиться?..

Вместо официанта к столу подошёл лобастый и носатый. Они с Моды побратски обнялись.

– Это мой верный друг Макс Жаккоб! – хлопал Моды по плечу франта в щёгольском сюртуке, при голубом галстук и белоснежном воротничке. – Поэт-футурист, хиромант, астролог... Я за него в огонь и воду.

– Да, я помню ваши портреты кисти вашего друга, – кивал я новому знакомому.

И правда, кто же их не видел! Только вот по ним этого франта, конечно, было не узнать. Хотя работы Моды никогда-то портретным сходством не отличались.

– Помню, помню, – повторил я, – так что с вами, Макс, я заочно уже давно знаком!

Каким образом, не могу сказать, но

мы с ним оказались в стороне от нашего столика. И у барной стойки, где я угостил его вискариком, он горячо шептал мне на ухо об алкаголике и наркомане, богемщике без сантима в кармане, о нарциссе и неудачнике Модильяни.

– Но он прекрасный живописец, я с юности увлечён им, – возражал я. – И потом, мирская греховность не исключает искусства художника.

– Ремесло, каким бы оно ни было высоким, не оправдывает аморальности, – дышал мне в лицо Макс.

– Но ремесло и искусство – разные вещи.

– Вижу, душа нараспашку у тебя... Подвержен влиянию различных промышленителей мозгов и дешёвых рекламщиков. – Он опустил ладонь на моё плечо. – Только и скажу: будь осторожен с ним... Ведь даже слово «моди» означает «проклятый».

\* \* \*

Застолье богемы в Париже – никакой еды, только выпивка. Когда я подошёл к нашему столику, Моды с Анной мило ворковали всё при тех же фужерах и чашечках кофе.

– Куда ты пропал? – спросил Моды.

– С твоим верным другом разговаривал.

– Пора домой, – сказала Анна.

– Возьмём на дорожку бутылочку винца, – обратился ко мне Моды.

А то, что это – всё-таки Париж, я убедился, увидев название кафе на кожаной обложке меню. Да и когда выходили из пурпурового заведения, я поднял голову и прочёл яркое название над дверями *“La Rotonde”* и адрес сбоку за выступом: *Boulevard du Montparnasse, 105*.

«Знаменитая “Ротонда” на бульваре Монпарнас, – сказал я себе. – Не верю!» Но облокотившийся на меня Моды не оставлял места сомнению.

– Я на правую руку надела перчатку с левой руки, – смеялась Анна.

– А я лягу сейчас под фонарь и усну, – не отставал от неё Моды.

– Хватит шутить, – сказал я. – Куда держим путь?

– На Бонапарта, – ответила Анна. – Второй этаж.

– На Монпарнас, 19, – возразил Моды и добавил убедительно: – Тут недалеко, на этом же бульваре.

– А моя изба ещё ближе, – сказал я. – Через два квартала, проспект Серова, 75, третий подъезд, третий этаж.

– Серов – это «Девочка с персиками», что ли?

– Да, Амадей, – ответил я. – Я живу на улице имени прекрасного живописца.

Ночь не сдавалась. Чернильное одеяло продолжало накрывать расцветенный огнями город. Моды задумал покурить моего табачку на свежем воздухе. Анна прошептала в перспективу бульвара:

**Синий вечер. Ветры кротко стихли,  
Яркий свет зовёт меня домой.  
Я гадаю: кто там? – не жених ли,  
Не жених ли это мой?..**

Нет, это был не жених, а новоявленный муж. Когда Моды зажигал свою сигарку, взвизгнули тормоза авто, и перед нами вырос во весь свой могучий рост – в цилиндре, приталенном чёрном пальто, с тростью – Николай Гумилёв. Я представлял его себе всегда в фуражке с небольшой овальной кокардой, в гимнастёрке с офицерскими погонами и Георгиевским крестом на груди, но таковым, конечно, он стал позже. А тут – в штатском с иголочки молодожён!

Он взял жену под локоток и, кинув испепеляющий взгляд на Моды, процедил сквозь зубы:

– И этот вечно пьяный шарлатан здесь!

Опомниться не успели, а уж Анны с нами будто и не было.

– Матерь божья, как же так?! – только и произнёс обескураженный художник, глядя на удаляющееся авто.

Раздавленные, мы поплелись незнамо куда.

Оказалось – ко мне.

В моей однокомнатной берлоге художник первым делом обратил внима-

ние на чистый лист ватмана на журнальном столике...

– Это что такое?!

– А то не видишь?

– Можно?

– Пожалуйста.

Он усадил меня в кресло напротив себя, взял из кармана карандаш-уголёк, смерил натуру взглядом... И минуту назад полумертвец ожил. Глаза его засверкали, рука забегала по ватману... Я не раз читал про него, что из любого тяжёлого положения он выбирался с помощью работы над бумагой, холстом, глыбой для ваения... Верно писали.

Скоро портрет мой был готов. На нём – я, по пояс, с полными печали и одиночества глазами, в футболке с короткими рукавами, на шее – лёгкий клетчатый шарфик. Похож – не похож? Ну, вы же знаете стиль знаменитого живописца!

Моды взял мой портрет, откинул голову, оценил на предельно вытянутой руке и припилил рядом с настенными часами.

Потом мы пили красное вино из «Ротонды», курили на балконе махорку, листали альбомы известных живописцев мира, среди которых был и Амедео Клементе Модильяни.

\* \* \*

Проснулся, когда день уже близился к полудню. Долго смотрел в окно, где по синему небу спешили куда-то белые, куцерывые облака. Вдруг как токком... Что же это было?! Я заозирался – всё вроде бы нормально, без перемен, часы размеренно бьют на стене... Сколько на них? Взглянул... А рядом с ними приколот булавкой к обоям лист ватмана с портретом молодого человека в футболке и с клетчатым шарфиком на шее. Откровенно говоря, на меня не похож – уродец какой-то. Но я-то знал, что это – я. И внизу листа – подпись: *modigliani* (как обычно с маленькой буквы).

Не буду описывать своё состояние, близкое к умопомешательству. Но ближе к делу. Когда мне что-то долго рас-

сказывают, я нетерпеливо спрашиваю: в итоге?

В итоге я позвонил приятелю ещё со школьной скамьи – Борису Клинкину, отличнику, примеру для всего класса, а позже – искусствоведу, знатоку живописи и профессору. Он был на месте, у себя дома. И я, прихватив «шедевр», помчался к нему.

Борис встретил меня как всегда приветливо. Долго рассматривал картинку, предложил пивка. Я, естественно, не отказался – с утра во рту маковой росинки от переживаний не было. И пока я, орошаясь, оглядывал просторный кабинет, специалист водил лупой вдоль и поперёк рисунка, едва не касаясь моего лица и подписи под ним.

Фатера у него, конечно, что надо! По стенам подлинники в рамах, на подставках замысловатые тонкошеи сосуды, книжные полки уставлены статуэтками, диковинными масками... Только огромный чемодан в углу кабинета вносил некоторую дисгармонию. Я спросил: как он поднимает его? Он ответил, что чемодан на колёсиках.

Наконец профессор (мне нравилось его так называть, всё-таки единственный из всего нашего класса выбился в учёные) оторвался от объекта исследования:

– Слушай, дорогой, ты пока оставь мне картинку – я сделаю экспертизу по полной, чтоб уж точно было, да и кое с кем посоветуюсь.

– А что – представляет интерес?

– Да пока не совсем понятна она. Ватман вроде бы наш, а уголь и техника исполнения... – Профессор не договорил, лишь в затылке почесал.

– Нет, – возразил я. – Бумага, не-

смотря на белизну, не наша, она из папки моего прадеда, в Табели о рангах – коллежского советника.

– Вот я и говорю, надо всё капитально проверить, если есть желание, конечно.

Не было бы желанья, не потащился бы к нему после бурной ночи. Что тут думать – согласился:

– Хорошо.

– Звони ровно через неделю, – уточнил он срок экспертизы.

Через неделю выяснилось, Борис в командировку укатил, в Лондон. Что-то нехорошее и мутное закралось в мою душу. Помню, я произнёс неторопливо и внятно, глядя на бегущие кучерявые облака по синему небу в окне:

– А чемодан-то на колёсиках был!

Не буду описывать свои переживания и прочее, скажу кратко: мой одноклассник и друг детства (нет, впрочем, другом его я не могу назвать, а то распознал бы), искусствовед и профессор Борис Клинкин умотал в страну Туманного Альбиона с концами. А через полгода в одном глянцево-журнале я прочитал, что на аукционе «Кристис» доселе неизвестный рисунок Амедео Модильяни «Месье в клетчатом шарфе» продан за двадцать семь миллионов долларов. Заметка иллюстрирована моим портретом, который, правда, на меня не очень похож.

Вечером я позвонил Сергею и сказал, что махорка его у меня давно кончилась. Он ответил:

– Давай встретимся, я принесу.

Я предложил прийти в полтретьего ночи в «Бар», где мы с ним познакомились.

Он согласился.

